

КУРНОСАЯ

Нехорошо мне. Голова – как котёл, в ушах гудит, ломает всего. И страх этот.

В городе тиф. Говорят, в госпитальной мертвецкой трупы, как дрова сложены. Их раздевают догола и кладут. На вокзале вчера я больных человек десять видел. Лежат тут же, прямо на полу. Бредят. Пить просят.

Раньше мне всегда казалось, что со мною этого случиться не может. Теперь, напротив, уверенность, что случится. Полная. И безобразный страх.

Главное – не поддаваться. Получить разрешение и сесть в вагон. Тогда уже ничего: не выкинут же, небось, по дороге. Надо только вида не показывать, что мне скверно: могут в поезд не пустить. А оставаться мне невозможно.

От своих я отстал. Думал, отлежусь – пройдёт. Канцелярия наша тем временем эвакуировалась.

Вчера опять эта ерунда со мной, вот что неприятно. Бред, что ли начинается?

Пошёл вечером на вокзал посмотреть посадку. У выхода на перрон носильщика спросил:

– Это ростовский?

– Ростовский?

– Что же он не отходит?

– Да вот видите, что тут делается. Этот ещё отойдёт, и завтрашний, пожалуй, отойдёт. А там – крышка.

Я прошёл в зал. Остановился среди сутолоки. Стою, задумался.

Посмотрел так в сторону – опять она. Чёрт знает что! Всюду попадается. И у коменданта, и на дворе у нас. Всюду.

Случайность, конечно. Но странная. Да, очень странная случайность.

Вот как встречу её, так мне каждый раз совсем нехорошо. И страх какой-то, что она меня увидит.

На бред – непохоже, какой же бред, когда и другие её видят.

Старуха рядом со мной посмотрела ей вслед и с омерзением плюнула:

– Тьфу, курносая!

Действительно, лицо её – ужасно! Ну, пускай бы без носа, и веки вывернуты. Но на лбу у неё кудерки, нарочно на шпильке завитые, вот что особенно скверно: точно не замечает, что нос у неё провалился. Щёки от пудры голубые, губы нарумянены. Идёт и встречным мужчинам улыбается. В этом какой-то особенный ужас. Для меня – двойной. Не знаю почему.

Нужна она мне! А вот не могу отделаться. Я её и прежде видал

давно. Много раз. Где – не вспомню, но только наверно.
«Курносая»... Это слово я тоже когда-то слышал. Слышал, да. В детстве, от няньки. Всё, бывало, она меня какой-то курносой пугала: «Вот курносая придёт, возьмёт тебя». Я не понимал, а боялся.

Когда я думаю о ней, стараюсь вспомнить, где видел – голова сильнее разбалливается.

Однако, надо взять себя в руки. Так нельзя. Конечно, ни о чём постороннем думать себе не позволю. А об этом особенно. Народу у полковника опять набилось до чёрта. Накурено. Пахнет мокрой одеждой. Сидят на столах, на подоконниках, на заслеженном склизком полу.

У полковника веки серые. Он отворит дверь и скажет:

– На Крым два места.

Тут крик поднимется. Один говорит, что ему не два места нужно, а три. Другой, что он в Ростов едет, дама про своих детей непременно хочет рассказать. А у меня в голове положительно ничего не помещается. И как-то глхнуть я стал: вижу, что полковник шевелит губами, а ничего не слышу.

Кто-то спросил:

– Вы больны?

Все со страхом на меня.

– Нет, здоров.

– Вам ведь одно место, так что же вы? Берите! От радости, что получил – во рту и в горле совсем шершаво стало. Комната качаться пошла.

Вышел из канцелярии. Мысли, как круги по воде, расплываются.

В руках у меня бумаг много, и все очень нужные, необходимые. Не дай Бог потерять. Спрятать бы их. Только – куда?

Главное теперь всё обдумать... ещё деньги я хотел в шинель зашить.

Ну, да. А документы в бумажник спрячу, и во внутренний карман.

Надо себе это внушить, чтобы твёрдо запомнилось: первое – деньги и бумаги спрятать; второе – к десяти на вокзале быть. Ровно к десяти.

Вот эти две вещи мне теперь только и нужны. Остальное – к чёрту. И о ней думать нельзя. Да я и не думаю... стоит просто пред глазами эта язва вместо носа и кудерки на лбу. Впрочем, не в этом дело. Совсем не в этом... А вот какие-то две вещи очень нужные, сейчас думал?... Да, бумаги спрятать. А вторая? Какая же это вторая? На вокзал – теперь помню – к десяти. Вон Вера Васильевна перед своим подъездом с нагруженными салазками стоит. В руках у неё лампа, керосиновая, большая, с зелёного стекла резервуаром. И вот, когда я пристально взгляделся в эту лампу – очень пристально – она вдруг зажглась... А лицо у Веры Васильевны... Но это всё к делу не идущее, и ужасно мешает. Вот задумался немного и теперь положительно не знаю, куда вышел. Если это здание впереди – вокзал, то почему оно слева, а не справа, как вчера. Всё это симптомы скверные. Ну, да наплевать.

Вхожу. Народу больше вчерашнего. Протискался к стене, прислонился и стою. Старичишка какой-то всё тут вертится, поглядывает на меня. Физиономия, впрочем, ничего: внушает доверие.

– На Ростов едете?

– На Ростов то – на Ростов... Только я смотрю, туда ли я попал? Большая церковная свеча в высоком подсвечнике. Образ. Если не ошибаюсь – Александра Невского. В кольчуге: он ведь воин был. Баба свечку ставит, маленькую, возле большой. Надо, однако, шапку снять. Хотя, в сущности, мне не в церковь нужно было.

А церковь эта наша, приходская. И батюшка наш, старичок отец Николай, Значит, всё в порядке... Помню, когда отец Николай в этой церкви брата венчал...

– Не приехала ещё?

Невесту ждут. Кому это могла придти странная мысль венчаться именно сегодня?

Как темно. Всего несколько свечек, да лампадка перед Александром Невским.

– Почему не зажгли паникадила. Кажется, это полагается при венчании.

– Они, видать, нездоровые. И без вещей вовсе. И пальта на них нету. Холодно, поди?

– Да, мне в одном фраке даже очень холодно. А что за невестой поехали?

Всё-таки это немного странно: я положительно забыл, кто невеста. Рассеянность непростительная, согласен. Но голова у меня нестерпимо болит, так вот от этого. Кого бы, в самом деле, спросить? Очень уж глупое положение.

Напрасно я сюда зашёл. Какое-то чувство говорит мне, что венчаться я не должен ни под каким видом. Сейчас всё ещё можно исправить. А потом... потом будет поздно.

Главное, что у меня нет времени. Это они должны же принять в соображение. Остаться мне нельзя: расстреляют. К десяти я должен быть. две вещи мне нужно помнить. Какая же вторая? Вот и забыл. Вера Васильевна с лампой? Нет, при чём это тут? Совсем другое. Священник берёт меня за руку. Куда-то мы идём. И поют. Это всё так именно и нужно. А только я никак не могу вспомнить, кто невеста? Это необходимо скорей выяснить... розовый атласный коврик и аналой перед нами. Как хорошо отец Николай говорит, просто так и вместе торжественно:

«Обручается раб Божий Андрей»...

Вот сейчас и узнаю кто она. Ну!... Отчего это здесь нынче так плохо слышно? Ведь он должен же был назвать её имя, а я не слышал. Не беда, он сейчас повторит. Неприятно, что, когда прислушиваешься, такая боль в затылке.

«Обручается раб Божий Андрей рабе Божией...»

Опять не слышал! Может быть он нарочно произносит это имя шёпотом. Я так и предчувствовал... Надо было сразу уйти. А теперь поздно. Я пропал, Я наверно знаю, что пропал. Если бы нет, то откуда этот непередаваемый ужас.

И в третий раз:

«Обручается раб Божий Андрей...»

Смотрю в лицо отца Николая. Вижу отчётливо, как шевелятся пол усами его губы. И совершенно явственно слышу теперь каждое слово:

– Приготовьте документы!

Шафер сзади наклонился и шепчет:

– Вот сейчас на перрон выйдем, там свободнее.

– Ах, не в этом совсем дело. Оставьте меня. Пожалуйста! Разве вы не понимаете. Мне необходимо сейчас же узнать её имя. Посмотреть на неё всё тот же страх мешает. Да и не узнаю я её: темно.

Вот я и обручён... Не обручён, а... – как это говорится? – обречён?... Думаю это и одновременно наблюдаю любопытное явление: стоит мне посмотреть в какой-нибудь тёмный угол церкви, как там сейчас же зажигается лампада. Их уже много таким образом зажглось: красных, зелёных, всевозможных. Это очень удобно. Посмотрел наверх.. там тёмный необъятный свод. И вот свечи паникадила начали зажигаться одна за другой. Как звёзды в ночном небе. Впереди вспыхнула огромная круглая лампада. Теперь нестерпимо светло.

Если бы не проклятый этот страх, который мешает. Чего же я, наконец так смертельно боюсь? Весь окостенел от ужаса. Боль в спине, в голове, во всех членах. Когда поворачиваю в её сторону голову – сильнейшая боль в шейном позвонке.

Покосился туда: вижу ясно – рука в лайковой перчатке держит обвитую золотой полоской свечу; вижу белый атласный бант и ветку флер д`оранжа.

Теперь надо постараться поднять глаза. Хотя это трудно: очень веки тяжёлые. Вот так.

Нет, лица всё равно не вижу, только кружево вуали... Вот оно что! вместо тюля – кружево. Она – вдова! Я подумал это с содроганием. Но почему же тогда флер д`оранж? Если вдова, то не должно быть флер д`оранжа. Однако, кружево... я знаю, что только вдовы надевают к венцу кружевную вуаль...

Вдова! Мой неясный страх начал собираться вокруг этого слова. Вдова... вдова... У неё стал быть был другой. С ним она тоже обручалась. Где же он теперь? Почему не приходит?... Что она с ним сделала?

А может быть... может быть у неё был не один, а несколько... много! И со всеми ими она обручалась. Так же вот, как со мною теперь, стояла перед алтарём. А потом... Нет, лучше не думать об этом. Нужно бежать. Если я отойду в сторону, то никто не заметит: народу так много и все толкаются.

– Куда вы? Говорят вам – нельзя, чего же лезете?

Шафер сзади удерживает меня и что-то испуганно шепчет.

Глаза у отца Николая странно выступают из впадин. Они у него бесцветные, с красными прожилками и совсем круглые. Переливаются, как мыльные пузыри. И всё больше, больше становятся. Того гляди – лопнут.

А губы прыгают:

– Кто сунется к вагонам, тот будет висеть вот тут! – показывает рукой на распятие. И уже это не распятие, а фонарный столб. И вовсе это не отец Николай: на нём военная шинель. Солдаты сплошной цепью отгородили нас от вагонов. Мы теснимся с вещами, с бумагами. Бумаги все протягивают в сторону мыльных пузырей. Я не смотрю туда: боюсь, что пузыри лопнут.

– Идите, что же вы! Загородил проход и не с места!

– Прошу не мешать проверке документов!

Кто-то кричит. Кто-то вырывает у меня из рук бумаги.

Шафер суетится и крепко держит меня за рукав. Вот теперь ступени

под ногами... Наконец-то вырвался из этой тесноты на парадное. Лестница для торжественности постлана красным сукном. Хорошо, что я надел фрак и белый галстук. Только холодно чертовски без шляпы. Ветер треплет волосы. Зато голове свежее. Швейцар выбегает на крыльцо и кричит:

– Подавай!

Это он зовёт мою карету. Не дай Бог, если её действительно подадут. Мне невозможно оставаться у большевиков, но в карету я не сяду. Ни под каким видом.

Я тороплюсь. Ноги ни с места. И опять сзади:

– Подавай!

– Не нужно! – Только бы уйти. Только бы не успели подать карету. Впереди узкая тёмная улица. Сзади грохочет. Карета так грохотать не может. Я не смею оглянуться. Ноги двигаются все на одном месте. грохот оглушает. Кажется, что бьют по моей голове. Нестерпимая боль.

Теперь из темноты выдвигаются лошади – чёрная пара в дышле – и кузов. Что это такое: свадебная карета или...? Фонари светят тускло, точно закопчённые. Кучера наверху на козлах не видно за темнотою. Костлявые чёрные клячи едва плетутся шагом. Дверца колымаги приотворена. В этой приотворённой дверце непередаваемый ужас.

Поравнялись со мной. Стали. Тяжело оседая на старых рессорах колымага качнулась в мою сторону. Дверца отворилась шире. Точно приглашает. А у меня одна мысль: дойти до поворота. Вот он. Сейчас заверну. Опять сзади грохочет. Невидимый кучер ударяет кнутом. Клячи переходят в тяжёлую неровную рысь.

Нагнали. Опять остановились. Дверца широко зевает.

Теперь я почти бегу. Острые камни режут ноги. Колымага не отстаёт. Снова нагоняет. И уж стала. Кто-то толкает меня в открытую дверцу. Не уйти, всё равно. И пытаться нечего. Сзади толкают сильнее. Я заносу ноги на подножку. И вдруг вижу: фонари затянуты крепом.

– Зачем?... Я не хочу!

Но уж захлопнулась за мной дверца.

– Пошёл!

Клячи пустились диким галопом. Я упал на сидение. Колымага трясётся и подпрыгивает на изношенных рессорах.

Я не один. Напротив меня кто-то белый жмётся в угол. Не пойму, венчальное ли это платье... или...?

Сужёная. Ряженая. Обручённая.

Опять этот страх.

– Ты... вдова?

Молчит.

– Признавайся, были у тебя другие?

Кивнула головой.

– Сколько?

Глухо шепчет:

– Много.

– Говори, сколько?

– Разве считаешь?... Много. Все.

– Все?!

- Все.
- И ты их... всех?
- Всех.

Клячи несутся. В открытое окно врывается ветер. Неудержимо тянет меня заглянуть в лицо моей суженой. Точно угадала – подвинулась. Я уже не хочу. Я стараюсь отстраниться. Она всё ближе. Белое пятно прямо перед глазами. И хотел бы не видеть – и не могу. Лицо завешено кружевом вуали. Но я знаю, что кружево сейчас упадёт. Тогда, в каком-то нечеловеческом, последнем ужасе, я протягиваю руку, чтобы оттолкнуть её прочь.

Кружево падает. В тусклом свете затянутых крепом фонарей обезображенное ужасной болезнью лицо. Вместо носа зияет тёмная язва. Беззубый рот улыбается, обнажая отвратительные бледные дёсны. Она охорашивается. Она оправляет на лбу свои кудерки. На голове её блеет венчик из флер д'оранжа...

- Неужели нет спасения!

Дверцы наглухо заперты. Тяжело грохочут колёса. В разбитое окно летят мокрые хлопья снега. Ветер треплет вуаль и бьёт меня по лицу.

- Боже, дай силы вырваться!

Вон она сидит. Смотрит на меня своими страшными злыми глазами. Говорит что-то... Что она говорит?

- Теперь мы все здесь обречённые! Совершенно недопустимо... В общем вагоне... Это инфекция!

- Виноват, позвольте, мадам. Ежели они, так сказать, тяжело больные, то не высаживать же их через это. Здорово живёшь в тифу, небось, не поехал бы: значит – крайность. Тоже понимать надо.

- Человек вон шубу с себя снял, да накрыл – не боится. А вы – «инфекция». Это позор!

Колымага слабо освещена затянутыми крепкими фонарями. Чёрные клячи мчат нас в глухую ненастную ночь. Чья-то рука, бережно, как родная, поправляет мне изголовье.

А курносая забила в тёмный угол под лавку и всех нас оттуда стережёт.